

Михаил Смирнов

АНГЕЛ МОЙ

Ефима Карпухина ещё не довезли до больницы, а в Мусино — это пригородный посёлок — уже соседи пустили слухок, будто Ефим на тот свет попал, когда с обрыва сорвался и угодил головой прямо в огромный валун, что лежал на берегу реки, но врачи его вернули обратно. Всякое болтали. Одни говорили, что врачи вовремя подоспели и откачали, другие утверждали, что у Карпухина была бутылка водки. И Ефим на том свете принялся угощать всех подряд и за свою душевную доброту был изгнан оттуда. А иные сказывали, что на том свете не пьют, а ведут трезвый образ жизни. Это Ефиму не понравилось, и он вернулся. Но все приходило к одному мнению: будь Ефим нормальным человеком, как остальные жители Мусино, он бы ни за какие коврижки не согласился вернуться в эту проклятую жизнь, а лежал бы сейчас под яблоней, вкушал бы сладенькие райские яблочки и поплёвывал с небес на землю да посмеивался. А он, дурачок... И каждый день приставали с расспросами к его жене, когда Ефима выпишут из больницы. — Вы с ума сошли! — негодуя ругалась Фимкина жена. — Он в реанимации лежит, а вы уже ждёте, когда его выпишут. Бесстыжие!

Но соседи и знакомые продолжали обивать порог его дома, когда Ефимкина жена возвращалась из больницы, и просили рассказать новости: как он чувствует себя, когда его выпишут, но самое главное — почему он сбежал от этой райской жизни, когда остальные стараются попасть туда...

Ефим Карпухин обрадовался, когда его выписали из больницы. Почти два месяца провалялся в общей палате, а до этого ещё неделю в реанимации продержали. Утром, едва больные успели съесть на завтрак жиденькую манную кашу, врачи сделали большой обход. Первый врач, травматолог, осмотрел затянувшиеся раны и сказал: а не пора ли выгонять Карпухина? На нём все болячки зажили как на собаке. Нормальный человек ещё бы полгода с кровати не поднялся, а этот уже по коридору шастает и всем надоедает со своими рассказами о загробной жизни. Пора отправлять его домой. Нечего задарма кормить. Он и так всю столовую объел. Врач ещё раз осмотрел раны, покрытые коркой, похмыкал, хотел поковырять болячки, но раздумал и уступил место невропатологу, который обстукал Ефима молоточком со всех

сторон, перед глазами поводил, чтобы следил за ним, потом заставил язык показать, руки вытянуть, на носочки подняться, указательным пальцем в кончик носа попасть... В общем, со всех сторон обследовали. Долго и задумчиво смотрели на Ефима, пошептались, а потом сказали, что можно выписывать, и ещё дольше предупреждали его, что можно в жизни, а чего нельзя, иначе в следующий раз могут не спасти. А потом принялись осматривать других больных.

Ефим Карпухин обрадовался, что домой отпустили. Хотел было пешком уйти, но передумал. До Мусино рукой подать. Из окна больничной палаты виден посёлок. Парк культуры и отдыха, рядом Дворец спорта, а чуть дальше, где видны пятиэтажки, за ними, за дорогой, находится Мусино. В хорошие времена Ефим быстро бы добрался, а тут поостерёгся. Врачи же сказали, чтобы пока никаких нагрузок. Мало ли что может случиться по дороге. «Бережёного Бог бережёт», — подумал Ефим. До обеда просидел на подоконнике, дожидаясь машину, на которой продукты привозили в больницу. Протяжно закричал, распахнув окно, чтобы до дома добросили. И, как был в трико, схватил справку, что в больнице проходил лечение, забрал сумку с вещичками и пустыми банками и зашлёпал по ступеням. Обрадовался, что больше не увидит эти мрачные больничные стены, не услышит бесконечные разговоры про болезни, о которых и знать не знал, а тут такого наслушался и насмотрелся — аж волосы дыбом встают. И Ефим отправился домой...

Он всю дорогу рассказывал шофёру, как с обрыва улетел, а очнулся уже в реанимации. А сам вертел головой, удивлённо поглядывая по сторонам, словно впервые видел. А ведь и правда, что впервые увидел после того, как на том свете побывал. Правильно, так и есть. Он уже в реанимации очнулся, когда с того света вернулся.

Ефим считался хорошим мастером. И печи клал как в своём Мусино, так и в городе, да ещё успевал ездить по деревням, где плотничал, любо-дорого было поглядеть на его работы, даже рисунки на печках или стенах малевал, а некоторым на воротах рисовал, если просили. Всё умел делать. Ценили его. Кроме денег, за стол приглашали, чтобы рюмочку-другую выкушал, и в карман бутылочку

свали — так, на всякий случай. Какой же дурак от дармовой водки откажется? Она всегда в хозяйстве пригодится. И Ефим не отказывался от бутылки, если предлагали. Выплет за столом, сколько организм позволял — это всего лишь две рюмашки, а остальное забирал с собой. Жена его, Антонина, ругалась: зачем водкой берёт за свою работу, лучше бы деньги приносил, — а он смеялся и говорил, что водка — это твёрдая валюта, которая в жизни всегда пригодится. Зато мужики повадились к нему. Сам не пьёт, а водки много, а желающих на дармовую водку ещё больше находится. И начинают его трясти. День ли, ночь ли на дворе, а они тащатся, в окна стучат, чтобы выручил, не дал помереть. Ефим выносил бутылку и денег не брал, а жена ругала мужиков, свиньями обзывала. А может, и правда, что пьющие люди в свиней превращаются? Ведь не зря врачи говорят, что человек от свиньи мало чем отличается, не только органы друг дружке подходят, даже привычки становятся одинаковыми, если до поросыньки визга напиться...

Ефим частенько вспоминал, когда он возвращался после работы берегом реки Белой, нога скользнула по траве, и он не удержался, полетел с отвесного обрыва. Себя винил. Не нужно было рюмку водки пить за столом, а он понадеялся: ничего с ним не случится. Выпил и отправился домой. Не дошёл. С обрыва соскользнул. Себя винил, а врач, наоборот, сказал: если был бы трезвым, в котлету или в отбивную бы превратился, а так докувыркался до самого низа, складываясь и раскладываясь, и в конце полёта головой в валун врезался. Видать, тормозил. Весь целый. Правда, ободранный с ног до головы, одежда в клочья, все кости целые, а голова не выдержала — мозгистряслись, и на шее какую-то жилку порвал. Кровища хлестала — ужас! Пока довели до больницы, Ефим уже похолодел. Его оставили на кушетке, сами за каталкой помчались, чтобы в реанимацию отвезти, и тут Ефим со смертушкой повстречался. Он не помнил, что произошло, но врачи сказали, что трижды смерть обнимала его, за собой утаскивала, и трижды Ефима вырывали из лап костлявой. Думали: уж всё, помер Ефим Карпухин, — ан нет, сердце слабенько, но дрынькнуло. Так, едва заметная ниточка дёрнулась. Врачи обрадовались. Принялись его к жизни возвращать. Вернули, но Ефим с этого дня стал заговариваться. Всё про потустороннюю жизнь разговоры заводил и каждый раз рассказывал, где побывал, что повидал и кого встретил там. Мужики в палате посмеивались, посматривая на Ефима, и крутили пальцами возле виска: мол, что с дурачка взять, кроме анализа, но и тот со спиртом. Нет, он дураком не стал, а вот что-то такое, не от мира сего, а от мира того, в нём появилось. Раньше, когда рюмку-другую выпивал, всякую ахинею нёс, а теперь вообще стал заговариваться. Видать, побывал между мирами — этими

царствиями живых и мёртвых, а может, ещё куда-нибудь занесло: учёные говорят, будто миров не сосчитать, протяни руку — и в какой-нибудь попадёшь. Вот и Ефим, видать, насмотрелся всякого и до сих пор не может определиться, где ему лучше — здесь или в каком-нибудь другом мире. В общем, бултыхается и не может к берегу прибиться... — Братцы, не поверите, я же в другой мир попал, а может, на тот свет угодил — не разобрался, — первое, что сказал Ефим врачам, когда очнулся. — Шагнул и там словно через порог переступил. Легко стало. Покой и радость на душе появились. И тут себя увидел со стороны. Даже испугался. Смотрю, я на кушетке лежу, но в то же время вон из того угла смотрел на палату, — сказал Ефим и ткнул пальцем. — Глядел, как врачи забежали. Особенно вон тот, который с бородой ходит, реаниматор, что ль... Вся грудь мне истоптал, зараза рукастая! У меня и так рёбра сломаны — это меня в молодости поселковский бык к сараю прижал и два ребра на кусочек переломал. Вот и этот врач как взялся за меня — чуть было остальные рёбра не переломал. Я кричу ему: что ты делаешь? — а он только пыхтит и жмакает меня, всю грудь истоптал. А медсестричка сидит за столом и чай с колбасой наворачивает. Я прошу: дай кусочек, у меня кишка кишке протокол пишет, — а она будто не слышит. Жадина! И снова себя увидел на кушетке. Лежу тихонечко, глаза закатил, ручки на груди сложил, вокруг меня врачи носятся, но в то же время я вон оттуда на всех смотрел.

И опять показал пальцем в угол палаты, где было вентиляционное отверстие под потолком. — Да, клиническая смерть меняет людей, как снаружи, так изнутри. Другими становятся. И всё замечают, что вокруг делается, — задумавшись, сказал врач, просматривая анализы и снимки. — Одним понравилось, даже ругались, зачем их с того света вернули, и всё норовили обратно отправиться, говорили, что там тепло и на душе покойно, а другие руками-ногами отмахивались, лишь бы туда не угодить. Видать, напугались. Наверное, много в жизни нагрешили. У таких дорога одна — ад. Куда ты попадёшь — это уже от тебя зависит. Если не умеешь пить, вообще не берись. Иначе...

И куда-то в сторону махнул рукой. — Меня не нужно пугать. А что сразу — допьёшься? — забубнил Ефим на кровати. — Я же не пью, как другие. С двух рюмок лыка не вяжу, а вы: бросай, бросай... А кто из нас безгрешен, а? И, как говорят, киньте в меня камень, кто не пьёт. Ага, молчите, значит, сами грешны! — торжествующе сказал он, а потом забормотал, поглядывая на соседей по палате: — Мужики, там такое видел... такое... аж как вспомню, ух прям даже как...

И начинал вздыхать. — Какое — какое? — раздавались слабые, но любопытные голоса. — Может, и мы туда отправимся?

— Вот такое, — Ефим разводил руки в стороны. — Большущее и тёмное за одной дверью, за другой и третьей, за пятой и десятой — аж сердце от страха выпрыгивало, потом долго пробирался по тёмному коридору, а впереди был яркий свет, словно дверь открыли и мне дорогу указывали, по которой должен пойти. Зажмурился, когда шагнул. Открываю глаза, а там светло, словно в летний день попал, везде птички поют и...

— Ага, прямо-таки в рай угодил, — начинали смеяться больные. — Мужики, как звали бабу в раю? Ага... Слышь, Ефим, ты, наверное, новую Еву нашёл себе. Своя-то уж приелась, как манная каша в больничной столовке, да? Ты про какой рай говоришь? Тебя не пустят туда, потому что для тебя ворота рая навсегда закрыты. Сам посуди, если тебя выперли из ада, что хотел всех чертенят напоить. У тебя же бутылка была. А душа широкая. Ну и стал всех угощать. И тебя выгнали. Видишь, для тебя даже в аду места нет, а ты говоришь: рай, рай... Хе-х, был трепачом — трепачом остался!

— Ну и не верьте... — бормотал Ефим и обиженно отворачивался. — Придёт ваше время, узнаете, какая дверь перед вами распахнётся. У каждого человека своя дверь, и какую откроет — это от него зависит, и ни от кого более.

— О, точно, дурачок! — засмеялись соседи по палате. — Про какие-то двери твердит... Видать, правда, мозги сдвинулись.

Так продолжалось до самой выписки. Он рассказывал, а над ним потешались. Дурак, что с него возьмёшь. Лишь врачи не смеялись, они знали, что всякое может с человеком произойти, когда он с того света возвращается...

Антонина заохала, обниматься кинулась, когда Ефим домой вернулся. Быстренько бельё собрала и в баню отправила, чтобы грязь больничную смыть, как сказала, а сама стала на стол собирать. Ефим отправился в баньку. Не парился. Врачи строго-настрого запретили. Велели поберечься: мозги встряхнулись, да ещё на том свете побывал — мало ли что оттуда мог прихватить?.. В общем, сказали — не париться, а то неизвестно, как организм перенесёт высокую температуру. Кровь ударит в голову — и поминай как звали. И спиртное запретили принимать: тоже неизвестно, как поведёт организм после того света. В общем, одни неизвестные и ни одной радости в будущей жизни...

Ефим поплескался в тазике. Помыл голову. В голове засвербело, словно что-то там зашевелилось. Схватился. Показалось, что-то ползает. Испугался. Может, что-нибудь сунули в мозги, когда на том свете побывал, или теперь организм не переносит воду? Завздыхал. Вот уж незадача! Неужели придётся всю жизнь не мыться? А как жить грязному-то? Закачал головой, сокрушаясь. Набросил на себя рубашку, подтянул трико с лампасами, по тропке дошёл до крыльца и уселся

на ступеньку, обхватил голову руками и задумался. Антонина, услышав, что он вернулся, вышла на крыльцо. Ефим сидел, сгорбившись, и, казалось, никого не замечал. Он думал как о прошлой жизни, так и о будущей. Антонина по привычке хотела рывкнуть, потом затопталась возле Ефима и рядышком пристроилась, поглядывая на него. — А я уж хотела в баню бежать, — басовито и медлительно сказала она. — Ушёл и пропал. Напугалась. Вдруг опять туда отправился? Ну, в этот... в другой мир, как ты говоришь. Боялась, сейчас зайду, а ты дух испустил.

И мотнула головой, показывая на небо. — А что пугаться-то? — покосился Ефим и потрогал голову, в которой ещё свербело. — Поплескался водичкой, и всё на этом. Врачи сказали, что париться нельзя, а можно только в ванне или под душем. А я же люблю веничком похлестаться. Эх, красота и для здоровья полезно! А теперь даже не знаю, как буду жить без бани, — он пожал плечами, продолжая шупать голову. — Ванна с душем — это не мытьё, а только грязь по всему телу развезёшь, и не более того. Наверное, брошу свою баньку, перестану париться и даже не буду умываться, а может, и бриться прекращу... Врачи запретили. Болтают, организм не справится, — потом наклонил голову. — Тонька, глянь, в башке свербит, словно что-то шевелится. Поковыряйся. Может, что-нибудь сунули туда, когда дыру зашивали или когда там побывал, — и, вздёрнув брови, кивнул вверх.

Антонина поводила по коротким волосам, потом погладила мозолистой рукой рваный шрам на голове Ефима и прерывисто вздохнула.

— Фимка, тебе показалось, а может, мозги на место встают. Такое бывает, а ты же врзался в камень, чуть мозги не повылетали. Врач сказал, что ты трижды на том свете побывал и вернулся, — запнувшись, забасила она. — Ну и как там? В посёлке говорят, что там лучше живётся, чем на этом свете, и всё есть, что душе угодно, и люди добрые... Я хотела спросить, как там живётся, и не решилась. Врачи запретили тебя тревожить. Мне страшно было, и ты каким-то чудным стал. Строишь на меня и не видишь, а сам словно что-то за спиной у меня рассматриваешь...

Она передёрнула округлыми плечами и неопределённо покрутила рукой в воздухе.

— Я, можно сказать, везде побывал, всех повидал: и людей, и зверей, и чертей, и... — принялся перечислять Ефим, взял пачку сигарет, повертел в руках и отложил в сторону. — Вот уж который раз беру в руки, хочу закурить, а не тянет. Словно бабка отговорила. Что со мной, Тонь? Может, заболел, а? — Неужто Боженька услышал мои молитвы? — Тонька встрепенулась, взглянула вверх. — А зачем скрывал от меня, что бросил курить? Я ж столько папиросок в больницу перетаскала — страсть! Пораздавал, наверное, простодыра, а мне

ни словечка не сказал, что не куришь... Господи, дождалась! — не удержалась, перекрестилась Антонина и замахала руками. — И не кури, Фимка, не кури. Баловство это и пустая трата денег. Я лучше тебе новый костюм справлю, а поднатужусь, так мотоцикл возьму. За грибами-ягодами начнём ездить. Компотов да солений наделаем. А зимой с картошечкой да под рюмашку... — она сказала мечтательно и причмокнула, но тут же запнулась и подозрительно взглянула. — А к выпивке тянет? — Я не знаю, — пожал плечами Ефим. — В больнице никто не наливал, чтобы проверить, тянет или нет. Мне же врачи запретили. Прямо перед лицом поводили пальцами и решительно сказали, что категорически запрещено спиртное употреблять, потому что сотрясение мозга было и это ещё... что на том свете побывал. Они говорят, неизвестно, как организм себя поведёт. Вот я сижу и думаю: выдержит моё нутро или нет, если выпить? — и повернулся к жене. — Может, зря врачи пугают, а? Плесни чутко самогоночки, Тонь. Посмотрим, что со мной будет...

И рывкнул, когда Антонина влепила затрещину. А рука у неё тяжёлая. Влепила и тут же сама заохала. Прижала голову Ефима к необъятной груди, закачалась, поглаживая его. Жалела.

— Ефимушка, я не нарочно, а по забывчивости ударила, — продолжала охать Антонина. — Я же все нервы кончила, пока ты в больнице лежал. Каждую минуточку о тебе думала. Ни есть, ни пить не могла. Взгляни на меня, исхудала на нет, кожа да кости остались. Не успел вернуться — снова про бутылки говоришь, — и забасила, погрозила толстым пальцем: — Только попробуй хоть капельку пригубить, я самолично тебя на тот свет отправлю! — и опять заохала, снова прижала его к огромной груди. — Сгоряча говорю, сгоряча! Ты уж не держи на меня зла. Сам виноват. Не буди лихо, пока оно тихо.

Ефим покосился на жену. У всех жёны как жёны, а ему гренадерша досталась. Она сгоряча на всё способна, а уж по шее надавать — как два пальца об... асфальт.

— Здоров был, Ефим Игнатьич! — донеслось с улицы, и Ефим вытянул тощую шею, взглянул на старую Камышлиху. — Выпустили из больницы или сбежал? Что сидишь? А-а, в баньку ходил... С лёгким паром, с чистой задницей! Тоньку брал с собой, чтобы спинку потёрла, а? Чать, силушки понабрался, пока на больничных харчах отъедался...

И старуха прищурилась, приложила ладошку к глазам, всматриваясь.

— Да какой лёгкий пар, ежли в тазу мылся? — недовольно заворчал Ефим. — Мне же запретили париться! Говорят, эрекция не та будет или реакция... Забыл, как правильно называется, если кровь в башку ударит... В общем, строго-настрого ничего нельзя делать, и всё тут, потому что помереть могу!

И Тонька не нужна была, самолично обслужил себя в бане.

И поддёрнул сползающее трико.

— А-а, вот оно как, — закачала головой старая Камышлиха и с ехидством так: — Париться нельзя, а пить-то, наверное, можно? Рюмку-другую опрокинешь и распишешься. Надо ж возвращение отметить... — и опять сказала: — Чать, уж острограммился, пока до дому добрался? Гляди, назюзякаешься, как свинья...

И замолчала, снова сощурилась, поглядывая на Ефима.

— А ты наливала? — не удержался, тоже съехидничал Ефим. — Ишь, любопытная!

— Что пришла? Что надо? — поднялась на крыльце Антонина и забасила на всю улицу: — Может, тебя позвать, чтобы свечку подержала, когда мы с Фимкой будем любовно заниматься, а? И нечего моего мужика самогонкой соблазнять. Всех мужиков споила в посёлке. Даже из города стали прибегать. Что крутишься возле нашего двора? Иди куда шла и не суй свой нос куда не просят, пока не прищемила!

И упёрла руки в необъятные бока.

— Ну раскипятилась, Тонька, — закачала головой старуха. — Никто не наливает, а ты в драку кидаешься. Я просто любопытничала. В посёлке всякое говорят про твоего Фимку, будто всех напоил на том свете, а его припугнули, что на сковороде поджарят. Никому же не хочется на сковородку, — и снова не удержалась: — Фимка, правда, ты грешников видел? А ты не встречал моего деда Тимоху? Такой щупленький, в клетчатом пиджачке, всё с батожком ходил... Тот ещё грешник был!

И погрозила скрюченным пальцем.

— Ну что вы лезете к человеку? — рывкнула Антонина и топнула ногой-гумбой. — Не успел из больницы вернуться — уже никакого покоя нет. Калитка не закрывается. Так и прут к нам, так и суют нос куда не просят. Их в дверь, они в окно...

Сказала, словно и впрямь очередь к ним выстроилась.

— Ты, Тонька, не ругайся понапрасну, — погрозила старая Камышлиха. — Всем любопытно, что делается в ином мире. Фимка же первым из посёлка побывал на том свете и здоровёхоньким воротился. А почему вернулся? Кто его отпустил? Все люди, кто попали на тот свет, остаются там, а он обратно пришёл. С какой целью пришёл? Так не должно быть! Если ушёл, там тебе и место, а он смотался. Почему? Всех знакомых и соседей мучают вопросы, а ответить может только лишь Ефим. Ты бы, Антонина, не гавкала, как собака, а позвала бы людей и стопкой чая угостила по случаю возвращения твоего благоверного из больницы и с того света. Пусть расскажет людям, как там живётся, где ещё побывал, кого видел, с кем говорил. Может, гостинцы или приветы передали, а он молчит. Да мало ли вопросов?... Уважь соседей, Ефим Игнатьич!

И оперлась на забор, поглядывая на них.

Ефим пожал плечами. Подняв голову, взглянул на жену, которая продолжала стоять на ступенях крыльца.

— На вас рюмок чаю не напасёшься,— рявкнула Антонина.— А может, ещё шампанского взять, а? Обойдётся!—она поводила перед собой толстые пальцы.— Ишь, уважь соседей... А вы много уважали моего Фимку? Весь посёлок потешается над ним, когда он рюмашку выпьет. Дурачком прозвали. А сейчас—уважь, уважь... Ишь, любопытные! Правильно, что наш посёлок ещё Варваринским зовут, потому что много любопытных Варвар развелось, которым нужно носы прищемлять, а тебе—первой.

Она ткнула пальцем в старуху, а потом горделиво посмотрела на неё. А как не гордиться, ежели почти всё Мусино уговаривает, чтобы Ефим рассказал про другой свет? А ведь правда, как же она не сообразила, что Фимка первым оттуда вернулся. Ещё никто не бывал там... Нет, многие туда отправились, но ни один не воротился, а он первым оттуда пришёл, а вернётся ли ещё кто-нибудь—это вилами на воде писано. И сейчас Антонина испытывала гордость за себя. Всё же она Фимкина жена. А родная баба—это самый что ни на есть близкий человек, роднее и ближе не найти на всём белом свете. А Боженька велел делиться с ближним. Вот и получается, что половина внимания, а то и поболее, должно уделяться ей, а не кому-либо ещё. Антонина очень любила, когда её уговаривают, когда уделяют внимание или она что-нибудь должна, чтобы уделили... Антонина запуталась, но точно знала, что половина всего, что было, есть и будет у Ефима, должно принадлежать ей и только ей одной, и никому более.

— Можно и без стопки чая,—недовольно буркнула старуха.— Гольный чаёк пошвыркаем, и всё на этом... — Ну ладно уж,—Антонина медленно махнула рукой,—приходите. Фимка всё расскажет как на духу. Предупреди соседей: ежели кого замечу с бутылкой, взашей выгоню! И в доме не курить. Мой Ефим бросил пить и курить. Не мужик, а золото!

— Да ты что—и курить бросил?—прижав ладошки ко рту, закачала головой старуха.— Быть того не может! Мужик без папироски—как баба без юбки... тьфу ты! Господи, прости меня, грешную, за язык поганый!—она торопливо перекрестилась и тут же прищурилась.— Видать, Фимка, правда у тебя мозги набекрень съехали, ежели от всего мужского отказался,—и, заметив, что Антонина нахмурилась, бабка заторопилась.— Не сердчай, Антонина. Сейчас побегу, всех оповещу, а потом заглянем на огонёк. Ты, Тонька, не бойсь, я самолично карманы проверю.

Сказала и неторопливо пошлёпала по тропинке вдоль поселковских домов.

Поздно вечером, когда солнце скрылось за горами, что были на другой стороне реки, к Карпухиным потянулись гости. Первой пришла Камышлиха. Сунула узелок с гостинцами Антонине, сама осталась возле двери. Уселась на табуретку. Стала поджидать гостей. Появился дед Устин. Зашёл. Поздоровался. Пока топтался возле входа, бабка Камышлиха словно невзначай успела поверить карманы. Следом загрохотал кирзовыми сапогами дядька Харитон. Антонина рявкнула на него, когда он сунулся было в обувь в горницу, но тут же после окрика принялся стаскивать сапоги. Камышлиха и его успела ощупать. Ввалился худой, с виду измождённый, кожа да кости, Васька-тракторист, оттолкнул руки, когда старуха потянулась к карману, и уселся на табуретку. Чуть погода тётка Марья с мужем Виктором зашли. Пригоршню конфет высыпали на стол и кусочек сала положили на середину. Сразу запахло чесноком. Ефим невольно слотнул. За ними ещё несколько человек появились. Кто-то приносил гостинец, а некоторые сразу подавались в горницу. Все расположились в горнице, редко перебрасывались словами и всё поглядывали на Ефима, дожидаясь, когда он примется рассказывать про другие миры, где он побывал, и про царствие живых и мёртвых. Всё же первым оттуда вернулся...

Антонина с бабкой Камышлихой хлопотали на кухне. Не торопилась. Ничего, подождут! Они же не чай пришли пить, а Ефима проведать да послушать. Но Ефим сидел, глядел в окно и молчал. То хмурился, то улыбался ни с того ни с сего, а потом снова губы в полосочку сжимал, и взгляд исподлобья тяжёлый—того и гляди ударит, если под горячую руку попадёшь. Антонина знала этот взгляд. На себе испытала его кулаки, а потом отыгралась, когда он уснул, скалкой рёбра пересчитывала. С той поры ругались, но не дрались, потому что друг дружку боялись, потому что любой из них мог дожидаться удобного момента и так отблагодарить, что потом неделю охат будешь.

Ефим сидел, смотрел в окно, пытался заглянуть в свою душу и понять, что в нём изменилось, как вернулся с того света. Когда в больнице очнулся, он понимал: что-то произошло,—а присмотреться—вроде такой же и ничуть не изменился. Ладно, сразу курить перестал, как бабка отговорила, но и к выпивке стал равнодушен—это пугало ещё больше. Никогда не отказывался от рюмки, а тут раз—и всё, словно никогда к бутылке не прикладывался. Почему? Вот и сейчас сидит, а его ну вообще не тянет к водке. А если вообще перестанет пить, тогда как жить и чем заниматься? У кого-нибудь сделаешь шабашку—и на сухую возвращайся домой? Ой-ёй! Непривычно было и страшновато. Вроде употреблял всего ничего, но всё равно будущая жизнь пустой кажется...

— Ефим, что хочу сказать... — зашепелявил дед Устин, невысокий, сторбленный старик с недельной щетиной, в вытертом пиджаке, в серенькой рубашке навыпуск, которая торчала из пузырястых штанов. — Не вздумай людей обманывать. Все хотят правду услышать, а не твои побасенки, — и погрозил скрюченным пальцем. — Я насквозь тебя вижу! Знаю твою натуру. У тебя же принято: если не соврёшь, три дня не проживёшь! Хе-х!

И затрясся в мелком смехе.

— А зачем же ты пришёл? — уперев руки в необъятные бока, басисто сказала Антонина. — Вот уж не лень старику — через весь посёлок тащился! Лучше бы возле бабки сидел...

— Меня бабка отправила, — сказал старик. — Велела разузнать, как Ефим с обрыва навернулся, помер, а потом снова воскрес. Так не должно быть! Весь посёлок только говорит, что Ефим заделался лётчиком, да ещё про всякую нечисть, с кем он подружился, пока по тому свету шлялся. Одной бутылкой всех чертей напоил — это ж надо такому случиться! Вот бы в жизни так: взял бутылку — и весь посёлок пьяный. Хе-х! — он снова засмеялся, а потом опять взглянул на Ефима. — А ещё разговоры идуг, будто Ефим другую бабу нашёл. Ну, там, где побывал... Говорят, оба голыми по саду бегали и яблоки кушали. И как она — эта баба? Получше твоей Тоньки или такая же горластая?

Сказал и мленько засмеялся. Вредный старик, ехидный.

— Успокойся, дед Устин, — забубнил дядька Харитон, вытащил грязную тряпку и высморкался. — Вот ведь Фома уродился! Как ещё бабка с тобой уживается? Сколько на свете живёшь, столько лет всем плешь проедаешь. Молчи, пока Антонина взашей не выгнала. Выставит, тогда будешь возле окна уши растопыривать.

— Всех повыгоняю! — рявкнула Антонина, ткнув толстым пальцем в старика. — К вам со всей душой, так сказать, а вы норовите туда харкнуть, да побольше. Идите отсюда, идите и гостинцы свои можете забрать. Не нуждаемся! Мы не звали вас. Сами напросились. Идите отсюда!

Антонина ткнула пальцем и обиженно поджала толстые губищи.

— Всё, хватит лаяться, — заметалась бабка Камышлиха. — Ну-ка замолчите! Ефим, что сидишь, рот до ушей, хоть завязочки пришей? Рассказывай, как в другом мире побывал. Видишь, народ забузил, того и гляди всю избу по брёвнышку разнесут.

Ефим завздыхал. Оглядел стол, за которым сидели гости, а некоторым не хватило места, они расселись на продавленном диване, а кто-то просто присел на корточки возле стены, и все смотрели на него. Ждали, когда начнёт говорить, а Ефим не решался. То, что увидел там, а испытал много чего, поймут ли его здесь — он не знал и поэтому

время тянул. Да и нужно ли обо всём говорить, с чем столкнулся? Ведь у каждого, кто побывал на том свете, свой взгляд на возвращение в реальность, но каждый из них станет до последнего дня своего сравнивать свою прежнюю жизнь с настоящей и будущей — это уж точно.

— Я пошёл домой. У Егоровых, что на окраине посёлка живут, печку подпирял. И решил пройти берегом реки. Так ближе. По краю обрыва шагаю, а трава высокая, и нога соскользнула. Я сорвался. А сами же знаете, какой обрыв над Белой. У, страшно взглянуть! Вот с него и полетел вниз, а что было дальше — этого не помню, — потирая щетинистую щёку, сказал Ефим, продолжая поглядывать на соседей. — Врач говорил, пока меня до городской больницы довели, три раза с того света вытаскивали. Видать, там не хотели отпускать...

— О, слышали? Аж целых три раза! — зашептались соседи, подталкивая друг друга. — Ну и как там, Ефим? А зачем вернулся, ежли тебя оставляли? Говорят, в другом мире лучше живётся, чем в этой жизни. Там ничего не нужно и никому не нужно, а здесь из тебя всю кровушку высосут до последней капельки да ещё во все дырки имеют, пока на этом свете живёшь, так и будешь стоять, согнувшись, до последнего дня своего, со спущенными штанами. Ох, зря не остался. А вот если бы нам предложили: мол, айда на тот свет, — мы бы с радостью пошли. Отмучились бы от этой проклятой жизни. Лежали бы сейчас под яблонькой...

И заговорили, перебивая друг друга, замахали руками. Как же так, разве оттуда умный человек добровольно вернётся? Да ни в жизнь! Вернётся только дурак. Дурак, да ещё какой! К примеру, такой как Ефим...

— А ещё я помню, как смотрел на себя со стороны, из угла под потолком, а врачи бегали вокруг меня, всё пытались оживить, а один амбал чуть все рёбра не переломал, на грудь нажимал, а медсестра наберёт воздуха в себя и дует мне в рот, а может, лезла целовать — не разобрал, — словно не слыша соседей, продолжил Ефим. — И вдруг померкло в глазах, темно стало, как поздними осенними вечерами, того и гляди куда-нибудь врежешься. И такая тишина — аж в ушах зазвенело, тоненько так, будто комарик над ухом летает, а потом всё громче и громче зашумело, словно ураган надвигается, и пятнышко света появилось впереди, как будто фонарик включили и бегут мне навстречу, но оказалось, я в огромной трубе нахожусь, а пятнышко всё больше и больше становится. И тут польхнуло в глаза — аж зажмурился от белого света. Оглянулся — вроде бы на ногах стою, но не чую ног-то. Сделал шаг, а ноги еле передвигаются. Такое бывает, когда во сне бежишь. Хочешь убежать, и не получается. На душе ужас был, казалось, что сердце разорвётся, а потом появилась пустота и спокойствие. Покой на душе был, меня ничего

не заботило, и ничего не болело. Ни рук, ни ног не чувствовал, словно всё занемело.

— А как же ты... — старая Камышлиха почмокала губами и поводила перед собой рукой. — А как ты ходил, ежли ничего не чуял? Легал, что ли?

— Не перебивай человека! — рявкнула Антонина и жалостливо посмотрела на мужа. — Не видишь, как его потрело там? Аж с лица спал...

Сказала и закачала головой, поглядывая на него, а потом погладила по неровно остриженным волосам — это в больнице обкромсали. Пожалела. — Да я же... — опять протянула руку старуха. — Интересуюсь...

— Молчи, пока не выставила отсюда! — снова гаркнула Антонина, а потом всем остальным погрозила пальцем, словно предупреждала. — Ещё слово услышу, и...

И показала крепкий, далеко не женский кулак.

Все молчали. Знали: лучше с Антониной не связываться. Такая баба не то что коня на скаку — трактор на ходу остановит, а если под горячую руку попадёшь, долго в больнице придётся лечиться. В общем, всё при ней: и росточком не обидели, Боженька не язык, а силушку семерым нёс, но одной досталась, а уж про характер и говорить нечего. Не баба — кремень!

— Ну так вот, — помолчав, продолжил Ефим. — Иду по этой трубе, как по перине, вроде мягко, а ноги путаются, а впереди свет яркий-преяркий. Сощурился — аж глаза заболели от света. Закрыл глаза, руки вытянул перед собой и иду на ощупь. Открыл один глаз и вижу, что вместо трубы передо мной городская площадь и Дворец культуры. Я распахнул дверь, зашёл. Посмотрел по сторонам. Никого не видно. Постоял, а потом пошёл на второй этаж и по коридору направился в сторону пожарного выхода. Туда, где ещё лестница есть. Иду и вижу: в конце коридора люди толпятся. Обрадовался! Тороплюсь к ним. Подошёл, они расступились, и я оказался перед дверью. А в спину подталкивают: мол, иди, тебя ждут. Распахнул дверь, а там металлические лестницы куда-то вниз уводят. И такая тишина — аж в ушах звенит. Я огляделся и потихонечку стал спускаться. Один пролёт прошёл — передо мной коридор в обе стороны от лестницы, и в этом коридоре двери с обеих сторон. Конца и края не видно. Свет тусклый-претусклый! А вокруг никого нет, только голоса из-за дверей доносятся. — А какие двери? — не удержался кто-то, спросил. — Золотые, чать? Всё ж в другой мир попал... — Нет, не золотые, — отмахнулся Ефим, покрутил головой, а потом ткнул на выход. — Вот примерно как у меня дверь, что в тёмный чулан ведёт. И там такие же, ничуть не лучше моих. Врач в больнице сказал, что другой мир — это зеркальное отражение нашего мира. Вот и получается, что там то же самое, что у нас. О чём это я? А, да... Я стою в коридоре и не знаю, что делать. На душе тоскливо

было, и сердце словно в кулак сжимали. Я посмотрел по сторонам, вернулся к лестнице, глянул в пролёт, а там дна не видно, только лестничные марши вниз уводят. Постоял, подумал, а потом опять стал спускаться. И чем глубже спускался, тем страшнее становилось. На каком-то этаже остановился. Опять коридор в обе стороны, и повсюду двери. И такой страх напал — аж кричать захотелось. Не удержался, открыл дверь и оторопел. Видать, в самый ад угодил. Повсюду костры полыхают, огненные реки текут. Я кинулся к другой двери, а там котлы огромные стоят и оттуда крики доносятся. Грешники слезами заливаются, просят, чтобы их пожалели, а в ответ только смех доносится. Такой смех — аж волосы на голове зашевелились. Там каждый получит по заслугам, что в жизни натворил, там за всё придётся отвечать. Никто не избежит наказания. Бросился к третьей двери, к пятой и десятой, а у самого аж в груди больно становится. Повсюду костры, огненные реки, везде грешники и крики раздаются. Я выскочил в коридор, побежал к лестнице, глянул в пролёт, что внизу делается, а где-то далеко подо мной отсветы огненные виднеются и непрерывные крики доносятся. Отовсюду кричали, со всех сторон. Пока слушал, вся моя жизнь промелькнула передо мной, как жил, что делал... И мне стало страшно. Очень страшно! Испугался, что здесь останусь. Повернулся, чтобы по лестнице подняться, а ко мне костлявые руки тянутся, словно в бездну хотят утащить. Я упираюсь, а лестничный пролёт всё ближе и ближе, а там... — Ефим судорожно вздохнул, взглядом обвёл горницу, но никого не видел, словно для себя говорил. — И я закричал. Сильно! Стал вырываться и побежал, а позади смех, громкий, страшный, и топот донёсся, словно гнались за мной. Поднялся к двери — и не могу открыть. Воздуха не хватает, того и гляди сердце выскочит. А позади крики и смех доносятся. Догоняют меня. Снова бросился бежать и вижу, что опять по лестнице спускаюсь. Туда, в эту преисподнюю. В какую дверь ни сунусь, лица вижу, и крики доносятся, кровь повсюду и костры, а вокруг грешники. Всякие: молодые и старые, девки и парни, мужики и бабы, даже стариков видел. И снова чуть было сердце не выпрыгнуло. Думал, грудь лопнет. Испугался. Бросился к лестнице, снова стал подниматься и вдруг в какой-то коридор попал. Узенький и тёмный. Даже руки вытянутой не видно. А вдалеке едва заметно светлое пятнышко. Маленькое пятнышко, словно свечечку зажгли и держат... — сказал Ефим и задумался.

И соседи молчали. Даже дед Устин сидел, хмуро насупившись, о чём-то думал. Потом взглянул в потолок, опустил голову и принялся что-то рассматривать на щелястом полу. Потом вздохнул. Полез было в карман за куревом, но выдернул руку, когда на него цыкнула Антонина. Приподнялся.

Видать, хотел что-нибудь спросить, но махнул рукой и снова уселся на табуретку.

Все молчали, дожидаясь, когда Ефим снова начнёт рассказывать.

— Ну чего примокл? — не выдержала бабка Камышлиха. — Язык проглотил? Ночь на дворе, людям спать пора, а он сидит, в стенку уставился. Глади, дыру провертишь...

— Иди отсюда, — махнула рукой Антонина. — Здесь не клуб, где кино показывают. Там деньги берут за просмотр, а мой Ефим бесплатно рассказывает. Вот и молчи, а не нравится — дверь в той стороне.

И Антонина кивнула на выход.

Бабка Камышлиха недовольно заворчала, а вскоре притулилась к плечу соседа и закрыла глаза. Видать, задремала.

— И я пошёл на этот свет, — неожиданно стал говорить Ефим, и соседи вздрогнули, услышав его голос. — Коридор узкий, руками до стен дотрагиваюсь, а потом и потолок стал опускаться, шагать стало всё труднее и труднее. Протягиваю руку — она не поднимается. Хочу сказать — рот не открывается. И сердце застучало: сильно, резко, больно — медленно. Добрался до светлого пятнышка. И правда, дверь приоткрыта. Всего лишь небольшой лучик пробивался. Я обрадовался. Распахнул дверь, сделал шаг вперёд и зажмурился — до того яркий свет был, а вокруг белым-бело! Опять шагнул, думал, на улицу выбрался, а потом под ноги посмотрел и...

Ефим судорожно вздохнул и посмотрел на соседей, а у самого взгляд неизвестно где был, словно на них смотрел, но в то же время как будто пытался что-то рассмотреть за спинами.

Соседи непроизвольно стали оглядываться, с недоумением пожимали плечами, посматривая на Ефима, и исподтишка, чтобы не заметила Антонина, закрутили пальцами у висков.

— Я взглянул вниз, а под ногами наш посёлок Мусино, — продолжил рассказывать Ефим. — Откуда-то из облаков смотрел, как мне показалось, но в то же время я видел посёлок и каждый дом, нашу речку и лес, каждую травинку, каждый кустик. И всё это будто проплывало подо мной, словно я в своё прошлое вернулся. Отца заметил и мать, потом брата, Лёньку, когда они поехали в лес, чтобы дрова заготавливать на зиму, и меня с собой взяли. Тогда же ещё газ не проводили в нашем посёлке, и печь приходилось дровами топить. Отец с матерью молодые — страсть! Даже моложе, чем я сейчас. И дед Устин не стариком был, а дядькой в силе. Нашим помогал, ветви обрубал. Ага... — дед Устин встрепенулся, когда услышал про себя, но промолчал и стал слушать, что говорит Ефим. — Отец валил деревья. Одно упало, второе, третье, пятое и десятое... Потом замешкался и не заметил, как дерево наискосок стало валиться. Гляжу, а оно на меня падает. Я ещё маленький был. Несмышлёныш. От шалаша

отошёл, видать, к мамке отправился, и тут попал под дерево. Сверху на себя смотрел, как я поднял голову и гляжу на огромное дерево, которое падало, а сам от страха сдвинуться не могу, не то что бежать. Свист раздался, треск, грохот... Слышу мамкин крик, потом отец заорал, дед Устин метнулся к дереву, и тут чья-то тень мелькнула, словно крылом меня закрыли, а потом этот спаситель голову поднимает, и вижу — надо мной ангел склонился, собой прикрывает, и взгляд его запомнил, словно в душу мою заглянул, будто внутри огнём польхнул, а взгляд яркий и пронзительный, но в то же время восторженный. Он радовался, что вовремя подоспел, что удалось меня спасти. А у меня вся жизнь перед глазами пролетела, когда сверху смотрел, как дерево падало. Всё вспомнил от первого и до последнего дня. Выходит, что я ещё в детстве мог погнуть, но ангел спас меня, прикрывая собой. Почему? Ведь не для того, чтобы в рюмку заглядывать?... Он укрыв меня в далёком детстве, сколько раз потом помогал, чтобы я не погиб, и сейчас от смерти спас. Получается, что они существуют — ангелы-то. У каждого человека свой ангел, который сопровождает его от рождения и до последнего дня. Так идут люди по жизни рука об руку со своими ангелами-хранителями, ни на секундочку не расставаясь, — он задумался, взглянул на соседей и повторил: — Рука об руку идут. Все до единого или почти все, но люди не замечают их. Мне повезло. Я видел своего ангела... — сказал Ефим, отвернулся и замолчал.

Долго сидели соседи, о чём-то перешёптывались, потом поднялись и пошли к выходу, а дед Устин приостановился, видать, хотел поподробнее расспросить про себя, ведь Ефим видел его там — в прошлом времени, но передумал. Махнул рукой и заторопился вслед за соседями, а Ефим продолжал сидеть. Он сидел и смотрел в окно, за которым была глухая ночь. Он улыбался, поглядывая в тёмное небо, словно кого-то видел там, а потом поднялся и сказал:

— Ангел прикрывает меня. И взгляд у него чистый и радостный. Ангел мой...

Сказал и снова в тёмное небо посмотрел.

А вскоре в лесу наткнулись на старую скульптуру из камня, покрытую толстым слоем мха. Когда расчистили, увидели испуганного мальчугана, который сидел на земле, закрывая ручонками голову, а над ним склонился ангел, обнимая его крылом, а сам смотрел ввысь, словно оберегал мальчишку. Откуда взялась эта скульптура в глухом лесу, кто её сделал — неизвестно. Но с той поры, после работы, Ефим частенько уходил в лес и подолгу просиживал возле неё, о чём-то думал и с кем-то разговаривал. Быть может, о прошлом вспоминал и пытался в своё будущее заглянуть. Сам с собой разговаривал, а возможно, с ангелом беседовал. Всё может быть...